

С. Л. Франк  
ПУШКИН ОБ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ РОССИЕЙ И  
ЕВРОПОЙ\*

Всякому, сколько-нибудь знакомому с историей русской мысли, известно, какую центральную роль в ней играет тема об отношении России к Западу, - к тому, что с русской точки зрения обозначилось как "Западная Европа" в смысле всего европейского континента на запад от русской границы. Проблемы не только общественно-исторической и политической жизни, но и философские и религиозные по большей части ставились и обсуждались в связи с этой темой, - что со стороны, т. е. вне отношения к идейной атмосфере русской жизни, должно казаться странным и даже противоестественным. Известно также, что спор между сторонниками и противниками следования России по пути "западной Европы" - спор, принявший свою классическую форму в борьбе между "западниками" и "славянофилами" в 40-х годах 19-го века - в иных формах велся, по крайней мере, с конца 18-го века, продолжался в течение всего 19-го века и продолжается в 20-м веке вплоть до нашего времени. Здесь достаточно напомнить, что в истории новейшей эмигрантской мысли "евразийство" было эфемерной вспышкой радикальной и духовно узкой формы старого "славянофильства". Все творчество покойного Н. А. Бердяева в известном смысле вытекало из центральной для него веры в особое неевропейское и антиевропейское существо и призвание русского духа, В самой России Ленин, сочетав Маркса с Бакуниным, в лице большевизма создал особый вид антиевропейского марксизма: противопоставление правды "пролетарской" России злу и разложению "буржуазной" Европы есть возрождение, с совсем иным содержанием, старого националистического отталкивания от Запада. Эта установка достигла, как известно, апогея вульгарности и недобросовестной тенденциозности в современном советском национализме.

В этой проблеме совершенно особое место занимают воззрения Пушкина. Пушкин был не только величайшим русским поэтом, но и одним из самых сильных, пронизательных и оригинальных умов Россия, "умнейшим человеком России" (как определил его Николай I после первой встречи с ним); но, странным образом, несмотря на огромную литературу "пушкиноведения", идейные воззрения Пушкина остаются доселе мало исследованными или во всяком случае недостаточно оцененными. В частности, остались неуясненными его совершенно оригинальные взгляды на занимающую нас здесь тему<sup>1</sup>[1].

Пушкин не дожил до классической эпохи спора между "славянофилами" и "западниками". Но в 30-х годах он знал родоначальников обоих направлений. Первым западником - правда, своеобразным, во многом отличным от западников следующего поколения, - был его давнишний друг - в юности его духовный наставник - Чаадаев. Пушкин хорошо знал его взгляды и дожил до опубликования (1836 г.) его знаменитого "Философического письма", на которое отвечал особым письмом к Чаадаеву (о нем подробнее ниже). Из двух основоположников славянофильства, Ивана Киреевского и Хомякова, первый при жизни Пушкина еще не оформил своих

---

<sup>1</sup>[1] Ценная в других отношениях книга В. Зеньковского "Русские мыслители и Европа" (Париж, 1926) совершенно обходит взгляды Пушкина и лишь мельком упоминает его имя.

позднейших идей; но Хомяков уже с юных лет выработал свое славянофильское мирозерцание, и Пушкину приходилось идейно с ним сталкиваться. Основа спора была ему, таким образом, знакома. Но такому человеку, как Пушкин, и не нужно было знать чужие мнения, чтобы задуматься над столь основным вопросом русской духовной жизни. Он постоянно возвращается к этому вопросу и в своих художественных творениях, и в своих размышлениях о русской и западной истории, в своих письмах, заметках и в дошедших до нас устных высказываниях. По этому материалу мы можем составить себе представление о совершенно своеобразной постановке этого вопроса у Пушкина.

По своему непосредственному устремлению, по своим оценкам Пушкин несомненно был "западником" в том смысле, что высоко ценил западную культуру, был убежден в ее необходимости для России и скорбел о культурной отсталости России по сравнению с Западом. Уже в самых ранних его письмах у него есть излюбленное противопоставление (в отношении явлений русской жизни) "азиатского" начала-"европейскому", как низшего высшему. Переселившись из Кишинева в Одессу, он пишет Александру Тургеневу: "надобно, подобно мне, провести года в душном азиатском заточении, чтобы почувствовать цену и не вольного европейского воздуха" (1823). Шутя он называет Россию "родной Турцией" и Петербург "северным Стамбулом". Когда находится щедрый издатель для его "Евгения Онегина" он пишет: "Какова Русь, да она в самом деле в Европе - а я думал что это ошибка географов". Восхваляя статьи князя Вяземского", он называет их "европейскими"; находя пестроту внешнего украшения книги "безобразной", он прибавляет, что она "напоминает Азию". В записке о народном образовании, поданной им Николаю I в 1826 г., он горячо отстаивает пользу европейского образования и желательность учения русских юношей за границей; в своем дневнике (14 апреля и 3 мая 1834) он резко отрицательно отзывается об указе, ограничивающем право русских ездить в Европу. Он считает главной причиной относительной отсталости русской культуры татарское иго, которое отделило Россию от судеб Европы. "Духовная жизнь порабощенного народа не развивалась. Великая эпоха Возрождения не имела на него никакого влияния, рыцарство не одушевляло его девственными восторгами, и благодетельные потрясения крестовых походов не отозвались в краях печального севера". Он решительно отвергает какое-либо культурное влияние татар на Россию: "Нашествие татар не было, подобно наводнению Мавров, плодотворным: татары не принесли нам ни алгебры, ни поэзии" ("О русской литературе, с очерком французской", 1834); отвергает он и какое-либо влияние татарского языка на русский ("О предисловии Лемонте к переводу басен Крылова", 1825). С другой стороны, он указывает на разделение церквей, как на причину, отделившую Россию от остальной Европы и лишившую ее участия в великих событиях европейской истории (Письмо к Чаадаеву, 1836).

Но самое яркое выражение "западничества" Пушкина есть его отношение к Петру Великому. Пушкин создал, как известно, в своих художественных произведениях - в поэмах "Полтава", "Медный Всадник", в романе "Арап Петра Великого" и в ряде мелких стихотворений - незабываемый образ Петра, как "вечного работника на троне", человека, который "прорубил окно в Европу" и насадил европейское просвещение в России. Он, правда, далеко не во всем был согласен с политикой Петра Великого, считал его "воплощенной революцией - Робеспьером и Наполеоном в одном лице", ужасался жестокости его указов (которую он

противопоставлял мудрости его законодательных мер) и " признавал вредной "табель о рангах", видя в ней источник "демократического наводнения", которое "выметает дворянство". Но эти частные несогласия заслонены общим впечатлением величия, в глазах Пушкина, исторического преобразователя России и убеждением в благодетельности его реформ. Пушкин остро сознавал, что вся русская культура 18-го и 19-го века и все начатки науки и искусства в России имеют своим источником ту европеизацию России, начало которой положил Петр Великий. Он чувствовал самого себя органически связанным с этим европейским элементом, насажденным в России Петром. Можно сказать, что он бессознательно ощущал то, что позднее о том самом так метко сказал Герцен: "На призыв Петра Великого образоваться Россия через 100 лет ответила колоссальным явлением Пушкина".

Но при более тщательном рассмотрении отношения Пушкина к Петру Великому мы уже здесь найдем существенное отличие между Пушкиным и типичным воззрением западников. Можно сказать, что "западники" сходились со своими противниками "славянофилами" в одном: оба лагеря считали преобразования Петра *неорганичными*, не видели их связи с национальным духом России, а усматривали в них прививку к старой русской культуре каких-то совершенно новых, внешних начал. Они расходились только в одном: западники считали такую прививку чуждых элементов благотворной для России, потому что не ценили уклада древней России, находили невозможным развитие ценной культуры на основе русской национальной самобытности и видели единственное спасение России в усвоении западноевропейской культуры. "Славянофилы", напротив, отвергали путь Петра Великого, потому что дорожили древней русской культурой и насаждение чуждых ей западных начал считали губительным ее извращением. Совершенно иное понимание мы находим у Пушкина. Пушкин - и в этом его мнение подтверждается теперь выводами русской исторической науки - ощущал национальный характер дела Петра Великого. Он подчеркивает, прежде всего, национально-русский патриотизм Петра: когда "самодержавною рукой он смело сеял просвещение", он "не презирал страны родной: он знал ее предназначенье". Петр, таким образом, повел Россию по пути европейской культуры, по мнению Пушкина, именно исходя из убеждения, что национальный склад русского ума и духа может на этом пути осуществить себя, свое собственное внутреннее предназначение. А. О. Смирнова сохранила в своих "Воспоминаниях" следующие слова Пушкина: "Я утверждаю, что Петр был архирусским человеком несмотря на то, что сбрил себе бороду и надел голландское платье. Хомяков заблуждается, говоря, что Петр думал как немец, Я спросил его на днях, из чего он заключает, что византийские идеи московского царства более народны, чем идеи Петра"<sup>2</sup>[2].

Уже отсюда видно, что Пушкин ставит вопрос о "народности". (или "самобытности") и ее отношении к усвоению других культур гораздо глубже, чем обычные западники и славянофилы. "Народность" означает для него своеобразие духовного склада народа. "Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно

---

<sup>2</sup>[2] Подлинность "Воспоминаний" Смирновой оспорена, и нет сомнения, что ее дочь, издавшая их, сильно ретушировала их и многое внесла от себя. Но Мережковский в статье "Пушкин" (в книге "Вечные спутники") совершенно прав в своем указании, что приводимые в "Воспоминаниях" гениальные идеи Пушкина безусловно подлинны по внутренним основаниям.

какому-нибудь народу, Климат, образ жизни, вера дают каждому народу особенную физиономию" - таково примерное определение "народности" у Пушкина (в незаконченном наброске "О народности в литературе", в котором он жалуется на распространенность слишком узких понятий "народности"). Народность в этом общем смысле совсем не предполагает замкнутости от чужих влияний, обособленности национальной культуры. Напротив, субстанция народного духа, как все живое, питается заимствованным извне материалом, который она перерабатывает и усваивает, не теряя от этого, а, напротив, развивая этим свое национальное своеобразие. Риторический вопрос, поставленный Пушкиным Хомякову, действительно убийствен для позиции национальной исключительности и метко выражает подлинное существо дела. В самом деле, если культура московского государства, в которой славянофилы видели адекватное выражение национального русского духа, выросла на почве, оплодотворенной влиянием Византии, то отчего же культура петербургской эпохи заранее объявляется чуждой и враждебной национальному своеобразию только потому, что она оплодотворена западным влиянием? Будучи последовательными, сторонники национальной самобытности России должны были бы отвергнуть не только Петра Великого, но Владимира Святого, просветившего Россию рецепцией византийских христианских традиций; между тем, основным тезис славянофилов было именно убеждение, что верования восточной православной, т. е. греческой церкви суть фундамент русского национального духа. "Мы восприняли от греков евангелие и традиции, а не дух ребячества и споров. Нравы Византии никогда не были нравами Киева", - говорит Пушкин в уже упомянутом письме к Чаадаеву. Поэтому и Петр, несмотря на голландское платье и бритую бороду, мог не стать "немцем", а остается подлинно русским человеком. Без взаимодействия между народами невозможно их культурное развитие, но это взаимодействие не уничтожает их исконного своеобразия, как своеобразие личности не уничтожается ее общением с другими людьми.

Пушкин знал это по самому себе. Никогда не переступив, как известно, западной границы России, он глубоко воспринял в себе западную культуру, воспитался сначала на Вольтере и французской литературе, потом на Байроне, Шекспире и Гете. Но он не перестал от этого не только быть, но и чувствовать себя русским человеком. В его душе утонченнейшие влияния западной культуры мирно уживались с наивным русским духом, жившим в нем и питавшимся народными сказками няни Арины Родионовны. Он любил Россию Петра, стихию Петербурга, но он любил и Москву и древнюю Русь, и никогда у него не возникал вопрос о несовместимости того и другого. Убежденный "западник", он чутьем гениального поэта и историка глубоко и верно воспринимал дух русского прошлого и своей исторической драмой "Борис Годунов", своими историческими поэмами и повестями более, чем кто-либо иной, содействовал развитию русского исторического самосознания. Его обработки русских народных сказок суть образец художественного претворения непосредственных выражений народного духа в фольклоре; даже Жуковскому он должен был указывать, что в старых русских легендах, повериях и сказках не меньше материала для романтической поэзии, чем в произведениях западного фольклора. Он любил все, в чем ощущал "русский дух" (вступление к "Руслану и Людмиле"); будучи в указанном смысле "западником", он ничуть не уступал славянофилам в непосредственной любви к русскому народному укладу, ко

всему, в чем выражается непонятное для "западного европейца" (но часто и его привлекающее) своеобразие русской души.

Это сочетание "западничества", восприимчивости и любви к европейской культуре, с чувством инстинктивной, кровной связи с родиной во всем ее своеобразии подкреплялось у Пушкина одним сознательным убеждением, которое - несмотря на простоту и лаконичность его выражения - содержит глубокую философскую мысль. Пользуясь позднейшим термином, можно сказать, что Пушкин был убежденным *почвенником* и имел некую "философию почвенности". Лучше всего он выразил ее в известном стихотворении 1830-го года:

Два чувства дивно близки нам -  
В них обретает сердце пищу -  
Любовь к родному пепелищу,  
Любовь к отеческим гробам.  
На них основано от века  
По воле Бога самого  
Самостоянье человека,  
Залог величия его.  
На них основано семейство  
И ты, к отечеству любовь.  
Животворящая святыня!  
Земля была без них мертва,  
Без них наш тесный мир - пустыня,  
Душа - алтарь без божества.

Связь с "родным пепелищем" и с "отеческими гробами", с родным прошлым, по мысли Пушкина, не сужает, не ограничивает и не замыкает человека, а, будучи единственной основой его "самостояния", есть, напротив, основа подлинной свободы и творческой силы, "залог величия" личности - и, тем самым, народа. Укорененность в родной почве, ведя к расцвету духовной жизни, тем самым расширяет человеческий дух и делает его восприимчивым ко всему общечеловеческому. Этот мотив проникает и всю поэзию, и всю мысль Пушкина. Один из основных мотивов его поэзии тема "пенатов" - религиозного духа, которым обвеян родной дом; в уединении родного дома, в отрешенности от "людского стада" только и возможно познавать "сердечную глубь", любить и лелеять "несмертные, таинственные чувства". В личной жизни Пушкина воплощением "алтаря пенатов" были два места - родная деревня Михайловское, в которую он всегда возвращался для уединенного творчества, и Царское Село, в котором впервые, в годы отрочества и первой юности, раскрылась его духовная жизнь и произошла его первая встреча с музой (ср. стихотворения "Вновь я посетил" и "Воспоминание в Царском Селе"). В последнем стихотворении поэт, возвратившись после скитаний - внешних и внутренних - к родному месту, где протекла его первая юность, чувствует себя блудным сыном, который в раскаянии и слезах "увидел наконец родимую обитель". Эта "родимая обитель" - место, с которым связала впечатления детства и юности, сливается в сознании поэта с понятием "родины", "отечества"; "нам целый мир - чужой, отечество нам - Царское Село".

Философскую мысль, лежащую в основе этих чувств и мыслей, можно лучше всего выразить в короткой, но многозначительной формуле: *чем глубже, тем шире*. Только в последней, уединенной глубине человеческого духа, питаемой традицией, воспоминаниями детства, впечатлениями родного

дома и родной страны, человек, соприкасаясь с последней "несмертной" таинственной, божественной глубиной бытия, тем самым обретает свободу, простор для сочувственного восприятия всего общечеловеческого. (Здесь, по аналогии, - конечно, приходит на ум отношение между "благодатью" и "свободой": благодать не ограничивает человеческой свободы, не конкурирует с ней, а, напротив, впервые освобождает человека, дает ему широту, полноту, творческую свободу). *Этим снимается сама дилемма*, лежащая в основе спора между "националистами" и сторонниками "общечеловечности": *либо* преданность своему, исконному, родному, *либо* доступность чужим влияниям. Как отдельная человеческая личность, чем более она глубока и своеобразна, чем более укоренена в глубинной самобытной духовной почве, *тем более* общечеловечна (пример - любой гений), так и народ. Восприимчивость к общечеловеческому, потребность к обогащению извне, есть в народе, как и в личности, признак не слабости, а, напротив, внутренней жизненной полноты и силы.

Именно отсюда вытекает у Пушкина сочетание "европеизма", резкого отталкивания от культурной отсталости России, с напряженным чувством любви к родине и национальной гордости. Еще в первую эпоху своей жизни, гонимый правительством, негодуя на некультурность среды, в которой ему негде было развернуть свой гений, и стремясь убежать из России, он пишет, однако: "Мы в отношениях с иностранцами не имеем ни гордости, на стыда... Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство" (Письмо к кн. Вяземскому, 1826). В зрелую эпоху и к концу жизни это двойственное отношение к родине в просветленной и умеренной форме выражено в замечательных словах письма к Чаадаеву (1836): "Я далек от того, чтобы восхищаться всем, что вижу вокруг себя; как писатель, я огорчен..., многое мне претит, но клянусь вам моей честью - ни за что в мире я не хотел бы переменить родину, или иметь иную историю, чем история наших предков, как ее нам дал Бог". В дневнике Муханова 1832 г. записано устное высказывание Пушкина, осуждающее озлобленных людей, которые не любят России" и "стоят в оппозиции не к правительству, а к отечеству" (Вересаев: "Пушкин в жизни").

Теперь мы подготовлены к рассмотрению своеобразного систематического взгляда Пушкина на отношение между Россией и Европой. С указанным выше принципиальным "европеизмом" Пушкина сочетается твердое убеждение в своеобразии русского мира, в существенном отличии между историей России и историей Западной Европы. В программе одной из своих статей по поводу "Истории русского народа" Николая Полевого Пушкин говорит: "Поймите, что Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европой, что история ее требует другой мысли, другой формулы, чем мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада". "Россия была совершенно отделена от западной Европы". Пушкин доказывает, что в России не было ни феодализма, ни независимых городских общин. Эту отделенность России от остальной Европы и это своеобразие ее истории Пушкин *отчасти* воспринимает - подобно "западникам" - как *недостаток* русской истории. "Феодализма у нас не было - и тем хуже... Феодализм мог бы, наконец, развиваться, как первый шаг учреждения независимости (общины были второй), но он не успел. Он рассеялся во времена татар был подавлен Иваном III, гоним, истреблен Иваном IV". По отрывочным замечаниям этого наброска можно прийти к заключению, что Пушкин сожалеет, что история России не создала тех навыков к личной свободе и независимости от власти, которые возникли в историческом

процессе Европы. Этот взгляд совпадает с известной высокой оценкой Пушкиным аристократии, как носителя независимого общественного мнения в государстве. "Наследственность высшего дворянства есть гарантия его независимости. Противоположное есть неизбежно средство тирании или, точнее, развращающего и изнеживающего деспотизма" ("О дворянстве").

Главный источник этой вредной для России отделенности Европы от России он видит в татарском нашествии, отчасти также в разделении церковей (ср. выше). Последняя тема заслуживает особого внимания; в ней Пушкин резче всего расходится с славянофильством. Для последнего - в особенности для его главного богословского представителя, Хомякова, восточная, православная церковь после разделения церковей осталась единственно подлинной церковью, т. е. единственным адекватным представителем подлинного христианства; католицизм своим самочинием нарушил основную заповедь христианской любви; протестантизм есть следующий шаг на пути того же самочиния; этот и другой, следовательно, суть уклонения от истины христианской церкви. Совсем иначе смотрит на вопрос Пушкин; его мысль легко угадать, хотя она выражена лишь в кратких словах его писем. Он не разделяет, прежде всего, пристрастия Чаадаева к католицизму и его огульного отвержения протестантизма. "Вы усматриваете христианское единство в католицизме, т. е. в папе, - пишет он ему (1831). - Не заключено ли оно в идее Христа, которая содержится и в протестантизме? Первая идея была монархической, она становится теперь республиканской. Я плохо выражаюсь, но вы меня поймете". Вскоре после этого он пишет Вяземскому: "Не понимаю, за что Чаадаев с братией нападает на реформацию, т. е. на факт христианского духа. Что христианство в нем потеряло в своем единстве, оно приобрело в своей общедоступности (popularite)" (3 авг. 1831 г.). Пушкин, таким образом, считает нормальным постепенное развитие форм верований в христианской церкви и видит, что развитие совершалось на западе. Каково же его отношение к православию? Пушкин, начиная с середины 20-х годов, особенно в связи с собиранием исторических материалов для драмы "Борис Годунов", отчетливо сознавал все значение православия для русского национального духа и для русской культуры. В образах летописца Пимена и патриарха в "Борисе Годунове" он обнаружил и глубокую сердечную симпатию к традиционному типу православного благочестия, и гениальную способность понять и художественно воспроизвести его. Еще в юношеских своих "Исторических замечаниях" (1822) он порицает гонения Екатерины II на духовенство, утверждая, что этим она "нанесла сильный удар просвещению народному". "Греческое исповедание, - говорит он там же, - отдельное от всех прочих, дает нам особый национальный характер". Вредному влиянию духовенства в католических странах, где оно "составляло особое общество и вечно полагало суеверные преграды просвещению", он противопоставляет благотворную роль духовенства в России. "Мы обязаны монахам нашей историей, следственно, и просвещением". В письмах к Чаадаеву от 1836 г. он берет под свою защиту русское духовенство от нападков Чаадаева. "Русское духовенство до Феофана было достойно уважения: оно никогда не оскверняло себя мерзостями папства и, конечно, не вызвало бы реформации в минуту, когда человечество нуждалось больше всего в единстве". Он, впрочем, соглашается, что русское духовенство в новейшее время отстало, но видит причину этой отсталости в чисто внешней обособленности его от культурного слоя русского общества. И не только Пушкин ценил православие как творческую силу в истории русской культуры, но в последние годы своей жизни он и чисто религиозно

чувствовал свою близость к православному благочестию, ощущал себя сам православным человеком. Свидетельство этого является хотя бы его известное стихотворное переложение молитвы Ефрема Сирина ("Отцы-пустынники и жены непорочны").

И тем не менее, Пушкин бесконечно далек от славянофильской точки зрения. Он остается и здесь, как и во всем, трезвым и объективным. Мысль о вреде для России ее обособленного от Запада существования он распространяет и на оценку православия. Он сожалеет, что "схизма отделила нас от остальной Европы" (письмо к Чаадаеву 1836 г.). В приведенном выше письме к Вяземскому о воззрениях Чаадаева, защищая протестантизм, он прибавляет: "Греческая церковь - другое дело: она отделилась от общего стремления христианского духа". Это отделение было и остается, по мысли Пушкина, источником ее относительной слабости. Смирнова сохранила нам на эту тему еще один, в высшей степени интересный разговор Пушкина с Хомяковым. На утверждение Хомякова, будто в России больше христианской любви, чем на Западе, Пушкин "ответил с некоторою досадою": "Может быть. Я не мерил количество братской любви ни в России, ни на Западе; но знаю, что там явились основатели братских общин, которых у нас нет. А они были бы нам полезны". Несмотря на свою высокую оценку русского православия и свою личную сердечную преданность ему, Пушкин, таким образом, сознавал, что в судьбе и фактическом состоянии православной церкви в России не все благополучно, и что России в этом отношении есть чему поучиться у западного христианства. Та же Смирнова передает следующие слова Пушкина: "Если мы ограничимся своим русским колоколом, мы ничего не сделаем для человеческой мысли и создадим только приходскую литературу".

Однако, это "западническое" убеждение дополняется у Пушкина чрезвычайно интересной философско-исторической мыслью, имеющей противоположную тенденцию. Татарское нашествие и вызванное им обособление России от Запада он рассматривает в перспективе всемирной истории и с этой точки зрения видит в нем *особое служение России задачам европейски-христианской культуры*. Эту общую перспективу не понимали, по его мнению, европейцы, ни русские западники (в лице Чаадаева). По поводу западно-европейского отношения к России он говорит: "Долго Россия была отделена от судеб Европы. Ее широкие равнины поглотили бесчисленные толпы монголов и остановили их разрушительное нашествие. Варвары не осмелились оставить у себя в тылу поработленную Русь и возвратились в степи своего Востока. Христианское просвещение было спасено истерзанной и издыхающей Россией, а не Польшей, как еще недавно утверждали европейские журналы; но Европа, в отношении России, всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна" ("О русской литературе, с очерком французской", 1834). Ту же мысль Пушкин повторяет в письме к Чаадаеву (1836). "Нет сомнения, что схизма отделила нас от остальной Европы, и что мы не участвовали ни в одном из великих событий, которые ее волновали; но мы имели свое особое назначение". Повторив приведенные выше слова о том, как татарское нашествие было приостановлено Россией, Пушкин продолжает: "Этим была спасена христианская культура. Для этой цели мы должны были вести совершенно обособленное существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас однако чуждыми остальному христианскому миру, так что наше мученичество дало католической Европе возможность беспрепятственного энергичного развития".



Но эта мысль о всемирно-историческом смысле и, следовательно, оправдании обособленности России и культурной отсталости ее прошлого дополняется в том же письме к Чаадаеву другой мыслью, в которой Пушкин энергично восстает против идеи Чаадаева об отсутствии в России вообще основ исторической культуры. Пушкин решительно отвергает этот взгляд типичного "западничества", с особенной резкостью выраженный, как известно, в "Философическом письме" Чаадаева - взгляд, по которому все прошлое России есть какое-то пустое место - существование, лишенное элементов истории культуры. Отвергнув опорочение Чаадаевым восточного христианства- православия - на том основании, что оно было заимствовано из презренной Византии (Пушкин метко парирует эту мысль указанием, что все христианство тоже возникло из презираемого всем миром еврейства) - он продолжает: "Что касается нашего исторического ничтожества, то я положительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные войны - ведь это та же жизнь кипучей отваги и бесцельной и недозрелой деятельности, которая характеризует молодость всех народов. Вторжение татар есть печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ход к единству (к Русскому единству, конечно), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и окончившаяся в Ипатьевском монастыре, - как, неужели это не история, а только бледный, полузабытый сон? А Петр Великий, который один - целая всемирная история? А Екатерина II, поместившая Россию на порог Европы? А Александр, который привел нас в Париж? И (положа руку на сердце) разве вы не находите чего-то величественного в настоящем положении России, чего-то такого, что должно поразить будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы?"

М. О. Гершензон в своей книге о Чаадаеве справедливо говорит, что если бы от всего Пушкина до нас дошло только это его письмо, его было бы достаточно, чтобы усмотреть гениальность Пушкина. В этом главном документе отношения Пушкина к проблеме "Россия и Запад" - как в остальных, приведенных нами здесь его замечаниях - обнаруживается гениальная способность Пушкина к синтетическому, примиряющему противоположности, восприятию, - к пониманию им исторической реальности. Против крайнего западничества Чаадаева он защищает ценность самобытной русской исторической культуры; против славянофильства он утверждает превосходство западной культуры и - ее необходимость для России. И это есть не эклектическое примирение непримиримого, не просто какая-то "средняя линия", а подлинный синтез, основанный на совершенно оригинальной точке зрения, открывающей новые, более широкие духовные и философско-исторические перспективы.

Достоевский в своей известной предсмертной речи о Пушкине, в своей форме, на языке своих убеждений, пытался выразить этот подлинный универсализм гения Пушкина, примиряющий "славянофильство" с "западничеством". В это толкование он вложил много своего, но, по существу, в том, что он уловил этот универсализм Пушкина, он был совершенно прав. Когда настанет день возрождения русской культуры и государственности, старый вопрос о культурном отношении между Россией и Западом вновь станет перед русским обществом. Надо надеяться, что оно вспомнит тогда о мудрых и широких заветах своего величайшего гения.

---

\* *Опубликовано:* Пушкин в русской философской критике. - М., 1990. - С. 452-465